

МОЙ АТАМАН

Уж если о чем тоскует русский человек, во всех поколениях, так я, скажу уверенно, – о дедах. Нету их. Ну, оглянись, ну, покрути головой – есть? Нету. Кого на Руси бьют чаще и больше всех? Дедов. Били их – на Японской, Германской, Гражданской, Финской, Польской, били их на разных границах, но особо их били, прямо убивали, – в ягодовских, бериевских, да разве упомянуть, – в дзержинско-менжинских и ежовских подвалах, на Соловках, в Сибири, на Колыме, на Певеке, на Чукотке и в прочих лагерях.

А на последней Отечественной? Глянь, – один Григорий Иванович Коновалов остался. Глаза – буйволиные, умные и чуть туманные: поля в них много, ветра много, простор есть, русский, вспыльчивый, но долгоспокойный. Усы у деда Григория добротные, борода настоящая, без иностранной картавости и завозного нецеломудрия. Замечательная борода. И сам дед – телом, да и духом уворотливый, симпатичный казак.

Вот Евгений Евтушенко (Гангнус) сетует в “Литгазете”: мол, сплошные атаманы на Руси!.. А разве плохо? Скучно, когда в Париже – диссидентствующий Александр Глейзер. В Лондоне – диссидентствующий Александр Глейзер. В Нью-Йорке – диссидентствующий Александр Глейзер. А в Москве? Вообще – только глейзеры и глейзеры, и глейзеры, как гейзеры на Камчатке, или, как пауки в банке.

Григорий Иванович Коновалов – талантливый дед, серьезный атаман на Волге. Позор – если Волга без атамана!.. На Урале, у нас, атаманил – Борис Ручьев. Крепкий, знаменитый. Десять лет оттянул на Дальнем Севере, десять лет хорохорился в ссылке, – как положено на Руси: оттянул срок – человек... Не оттянул – стремись оттянуть. Заслуживай уважение.

И не знал я, что волжский атаман, Григорий Иванович Коновалов, дружит с уральским, Борисом Александровичем Ручьевым, да как дружит – горячо!

В 1965 году, окончив Высшие литературные курсы в Москве, я переехал из Челябинска в Саратов и приступил к работе в создающемся журнале "Волга". И, однажды, ко мне в гостиницу приподнято-громко, несколько очарованный бытием пожаловал Атаман, Григорий Иванович Коновалов, улыбочивый, декламирующий в косяках:

Всю ту зимушку седую

как я жил, не знаю сам,

и горя, и бедую

по особенным глазам.

Декламировал о глазах, сияя глазами:

Как два раза на неделе

по снегам хотел пойти,

как суровые метели

заметали все пути...

Песенным, родным, уютным пахло, знакомым с детства по протяжным голосам застолья, по прочитанным книгам и сказкам, а дед Григорий сурово спрашивал:

- Чьи стихи?

- Ручьева!

- Молодец! Не люблю прозаиков, разве донского атамана что?..

Я понял: Шолохова. Да, везде атаманы!

Помню, мы быстро завелись на стихах и на судьбах поэтов.

К моему удивлению, дед Григорий, атаман волжский, оказался уральским казаком, оренбуржцем. А мой род, сорокинский род, по отцу, да и по матери, миногинский, оба из Оренбуржья, частью “оказаченные”, частью “окрестьяненные”, но древние, уральские.

Дед Григорий - дед броский, темпераментный и шумный дед.

Он взмахивал над тарелкой широкими рукавами сорочки и восклицал:

– Давай, давай! Так и надо – русские стихи! Русские, брат! Прочитай Ручьева, можешь? Прочитай!

И я читал Ручьева, Федорова, Есенина, Блока, Гумилева, обожаемого атаманом.

Григорий Иванович вскакивал:

Здравствуй, Красное море, акуля уха,

Негритянская ванна, песчаный котел,

На утесах твоих, вместо влажного мха,

Известняк, как чудовищный кактус, расцвел.

На твоих островах в раскаленном песке,

Позабитых приливом, растущим в ночи,

Умирают страшилища моря в тоске,

Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.

В Литературном институте легко мы добывали стихи, запрещенные и незапрещенные, но тут, в Саратове, не отличающемся либерализмом, как все областные города, я искренне привязался к атаману, ценя в нем смелость, ценя в нем каплю свободы и вольнодумие центра. Дед – “надпровинциальный”, оснащенный заботами и наитиями. Чуткая пророческая удаль трепетала в нем, обитали в нем и надежды труженика. Перо его не торопилось, но касалось бумаги убежденно.

Россия, русский народ, русская литература – темы его метаний, его эпизодических

крутых дискуссий и вспышек. Сугубо национальные вздохи он решал оригинально:

- Ассимилировать!

- Как ассимилировать?

- А как я? Жена у меня Бетя, а дети – русские ребята. Повторяю: ассимилировать и конец, баста!

Дед Григорий взмахивал опять широкими рукавами сорочки. Взмахивал и немножко жаловался:

– Твой Шундик требует подтушевать Сталина под “сей” день в моем романе "Истоки", да-да, требует, а сам не знает, Сталина, как я знал. А я, как ты со мной, с Иосифом Виссарионовичем встречался. Товарищ Сталин не мог бы держать Шундика в аппарате ЦК, не мог!

Упреки походили на предыдущие, а порою вносили в наши отношения новизну. Атаман в период критики культа Сталина, ведь Хрущева сняли в 1964, а тут – 1965, грустил и печалился: рукопись возили, посылали, мяли, черкали до “Волги” и, естественно, Шундик, главный редактор, обязан проявить определенную осторожность. Но автор–автор, терпеть автору не так просто замечания посторонних.

Беседы, как правило, многолюдно и цветасто убегали в степи Курелена, в шатры Чингисхана, возвращали к царству Ивана Грозного, к Революции, к расстрелам и тюрьмам, к трактованиям исторических фигур, к деятельности свежих румяных лидеров.

Но, до сих пор я восторгаюсь, почти все подобные беседы, споры, даже легкие дерзковатые стычки завершались гимном стихам. И атаман, дед Григорий, верховодил весьма успешно состязаниями поэтов. Голос, круглый, чуть заунывный, тек, будоражил,

смешил:

Эх, захотелось дураку

Переплыть через реку,

Посредине утонул,

Только пяткой болтанул.

И вот, в минуту порыва, в миг наилучшего окрыления атамана, в комнату, в номер, внезапно и жестко входила симпатичная невысокая женщина. Смуглая, решительная:

- Пошли домой! – И атаман сникал.

- Пошли сейчас же домой! – И атаман еще заметнее сникал.

- Пошли, кому я сказала, кому, ну? – И атаман, длинно, длинно вздохнул у порога:

- Прощайте, робяты!

- Прощай, дед!

Мы, чудесно иронизируя, наблюдали, как по широкой набережной Волги двигалась пара.

Дед еще взмахивал широкими рукавами сорочки, но в жестах уже не чувствовалась та абсолютная власть атамана, данная ему нами, его казаками...

По воскресным дням мы снова собирались на занятиях Литературного объединения. Иван Малахаткин, тяжелый, черный, кудрявый, шаманил:

Речка Иловля!

Речка Иловля!

А поэтесса Зина Землякина, ржановолосая и хрупкая, кричала:

Дайте неграм свободу!

Дайте неграм свободу!

Эпоха. Время. Годы. И мы – в них, не забытых нами...

* * *

Дед Григорий в молодости красовался и отважничал. Нашел Бетю. Женился. Семью обосновал. И я верю, дед и в старости не подкачал: отваги в нем и в старости хоть отбавляй. Добрый. Не плодил врагов, не растранижил друзей. Обретался трудом. Делом. Характером.

Побуянивал редко, но для форсу нагнетал атмосферу, благословя себя на художественное мероприятие. В обкоме деда почитали. Секретарь по идеологии Черных вызвал Бетю и, как вождь, предупредил:

– Другого Григория Ивановича Коновалова мы не имеем, руководство поручает Вам, коммунисту, беречь писателя! – И что? Супруга атамана поняла: КПСС– КПСС, шутки в сторону, и снова блюла атамана в строгости...

Сталин когда-то Фадеева предупредил, мол, других писателей у нас нет, управляйся с этими, а Черных предупредил Бетю. Сейчас разве предупредят? Сейчас их, ленинцев, не поймать нигде: в кооперативах околачиваются, валюту копят – на рынок нацелились, а советское искусство лишь Алла Пугачева защищает?

Хи,

В гараже

Уже

Мандраже?..

Да и люди ненормальные: дуются, орут. Из-за какой-то бездарной статьи или фельетона, или пародии таранятся лбами, на суд выдерживают. Измельчали и окончательно охренели. А дед Григорий – прощал. Да и в скандалы не лез. Но хранил порох сухим. Не менял идеала, не гоношился хвалить Никиту Сергеевича Хрущева, не топтался на кабинетном ковре барабанного начальника.

Работая в ЦК КПСС, выпрямился в Кремле перед Сталиным. Сталин предложил бравому

Коновалову пост первого секретаря Ростовской области. Бравый Коновалов отказался:

- Что вам мешает? - изумился Сталин.

- Я пишу.

- Пишите?

- Роман пишу.

- Хм, писатель?

- Да, товарищ Сталин, писатель!.. – нажал бравый Коновалов. Сталин помолчал, помолчал и отреагировал:

- Хорошо, пишите. Партия, полагаю, без вас не погибнет?

Но товарищ Сталин приказал: как опубликуется, обязательно прислать Иосифу Виссарионовичу – почитать. И дед послал корифею напечатанные рассказы. Корифей вызвал и кивнул: – Пишите.

А сейчас бы разве прочитали? Вождь – натура гранитная, не вилял. А сейчас? Приватизация, демократизация, амортизация, активизация, плюрализация, дезорганизация и консервирозация. Когда им читать? И читать: фантастика, приключение, порнография. Нет альтернативы. Нет приоритета...

Григорий Иванович Коновалов – стойкий. Советовали, давили, но на Сталина не посягнул. Сталин для него – авторитет. Сталин. Революция. Дед нес в груди искру классовой справедливости. Но, никому не застил, никому не портил стези, никого не окликал маститым эхом.

Как-то я задал ему вопрос:

- Григорий Иванович, какие нити вас притягивают к лирикам?

- Нити? Не нити, а дерзость их!.. Я беру от каждого столько, сколько не беру от десяти коллег!

Странно, известный прозаик Иван Акулов тяготился собратями. И тоже бежал от них к нам.

Иногда атамана полонил кураж: дед бурно повествовал о том, как в составе чрезвычайной комиссии он, Коновалов Григорий Иванович, осуществлял сверхважные операции, применяя беспощадные меры к виновным. Дед, как достопримечательный дед, как импозантный атаман, виртуозно напускал не себя дым таинственности, мглу государственности.

Романтик, но в основе – глубокий и ясный русский человек, он едва ли участвовал в реквизициях, репатриациях, ущемлениях, едва ли. Уход его из ЦК под занавесью творчества – уход из ЦК, наверное...

Но дед – штык своего века. В осенних сумерках 1968-го Григория Ивановича пригласили к Беляеву “редактировать” “Истоки” для столичного издательства. И мы, я, домодедовец, сочувствовал деду, около метро Новослободская обменялись впечатлениями о цекисте и о событиях в Чехословакии, куда Брежнев кинул войска:

- Может, зря ввели?

- Зря не расстреляли!..

- Кого?..

- Кто предал социализм, того!..

- Да ну?..

- Гну, а не дану!.. Сегодня Чехословакия, завтра ГДР, послезавтра – Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, а мы? И мы – под каблук Западу. Да ну...

Григорий Иванович запальчиво объяснял:

- Советская власть усомнилась в Дубчеке, в Тито, в Хрущеве. Хрущев – пакостник, Хрущев растлил мораль, исковеркал суть!..

- Ну, расстреляют, а потом?

- И потом расстреляют!..

- Не жестоко?..

- А измена?.. Измена, а?..

Честно откроюсь: я завидовал деду. Завидовал его точности, его боевой настроенности. Я удручался, но, с детства впитавший наследственную благодарность к солдату, к армии, к обелискам в Европе и Азии, к могилам, этим бездонным вздохам русской земли, я не мог, да и не смел, перечить атаману, лихо, шагнувшему на лесенку эскалатора.

Вскоре газеты, радио, телевидение взахлеб, наперебой принялись просвещать нас фактами из Чехословакии. Факты – в пользу деда тасовались... Но теперь, когда соцориентеры сняты, а мосты “пролетарской дружбы” сожжены, а генсеки и кормчие осмеяны и уничтожены экзекуциями, кто не успел умереть, теперь, когда у нас, русских, ничего нет, кроме изможденной России, кроме нищей избы, кроме нищей очереди в магазинах, кроме нищей бессовестной программы 500 дней и наглых парламентских обещаний, теперь я возвращаюсь к тем сумеркам, к деду, к его пророчествам:

“Мы прожили свое, а вас, нежных, заставят чистить нынешним диссидентам сапоги, заставят чистить медали, полученные ими за предательство Родины, за подлый их лай на забугорных “Свободах” и “Волнах”, заставят ваших детей выскакать из школ и фабрик в наем к Западу, к Америке. Доллар – угробит личность, доллар швырнет в помойку призвание, доллар продиктует образ философии, доллар спихнет с пьедестала русский дух!..”

И – гневался:

“Мы, русские, должны овладеть стратегией ассимиляции! Маркс писал Энгельсу, мол, дорогой, Фред, не замечаешь ли ты, что у евреев, проживших среди русских, отрастают типичные славянские скулы? Я предвижу великое будущее русских”. Опирался дед на Энгельса к случаю и с удовольствием обогащал гениальнейшие озарения волхва Революции. Крен в “беспощадную ассимиляцию” евреев наблюдается и у Ленина.

Да, штык своего века, дитя! Но дитя – грозное, трагическое. Цельный и устремленный, Григорий Иванович Коновалов не плакался никогда на судьбу, на мир, его окружающий, хотя литературная судьба иногда уносила его от желанной цели, от намеченных берегов. Уносила, но не заплутала. Дед не ронял каплю свободы – прорицание

собственной души.

Ценил молодость, остроумие. К возрасту относился диалектически. К дарованию – поклонно. К женщине – с марксистской непосредственностью и кадровой бдительностью:

– Послушай, вот ты, соображаю, за Валентиной Суровцевой наверстываешь километры, а жена-то у тебя хуже? Понял ты или не понял?.. Валентина привлекательная, некорыстная, а ты и обрадовался.

- Дед, не надо драматизировать ситуацию!

- А что надо?

- Помалкивать.

- Да как же помалкивать? Ко мне к самому прикосилась молодайка, ей и тридцати нет, а мне-то седьмой десяток закукарекал, собрание сочинений готовлю, а она хап – читательница и обаятельница, клянется. Ну, сокол, как же быть? Большие люди, гордые люди, не мы с тобою, муть-мут, а большие, вах, – и женятся, а мы – то, да се, да райком, тьфу, гадость!..

* * *

И еще набирал высоту дед, орел седой: – Иду я вчера утром по набережной, а из лопухов лирик высовывается. Напился вечером, разминулся с женой и заночевал в

лопухах. Ну, ответь, ну, мог, например Михаил Юрьевич Лермонтов напиться, не проморгать жену и прикорнуть в лопухах? И дед насупливался: – Не мог, дорогой, не мог! Дворянин – понял? А наши: мы – шоферы, мы – шахтеры, у-у-у! Шекспир заметил:

Он на землю упал, как спелый плод.

Ему лежать, а нам - идти вперед.

И нелегко было определить: шутит Григорий Иванович, аль стонет при осознании неутешного русского захмеления, подвергнувшего Россию в уныние, а русскую семью в разводы и сиротство. Атаман доверчиво распахивался, обсуждая проблемы нации. Обычно ему пособлял насмешливый и колкий Виктор Кочетков, появившийся в “Волге” из Молдавии, ныне известный поэт.

Саратовцы без волокиты и подозрений включили нас, “чужих”, в свою среду. Атаман даже передал мне литературное объединение, а сам остался заместителем...

Но в 1967-м я перебрался в Домодедово, под Москву. И в “Молодой Гвардии”, на которую люто нацелились “левые”, вел очерки и публицистику. Григорий Иванович честно, так сказать, лично, поддерживал меня, но избегал публично давать положительную оценку журналу. Правда, срывался: на секретариатах, пленумах, декадах опрокидывал в “богемный омут” две, три грамотные фразы.

Стараясь привлечь атамана к сотрудничеству с “Молодой Гвардией”, я специально посетил Григория Ивановича на даче. Речь зашла о Твардовском. Дед неспешно и проникновенно делился: “Твардовский – один. И “Новый мир” – один. А некоторые выступают на Трифоныча кучей... Зачем?”.

Я слабо разбирался в баталиях, но и не бранил “выступающих”: они лучше нас знают, как им действовать. Бетя щедро угощала нас доброю русской стряпнёю, без градусов, разумеется. А мы “прогнозировали” социальную погоду.

От дачи – дорожка к воде. А там – Волга. Былинная Волга. Сколько раз я ускользал на парходике в ее державную синеву, в ее скифские кружащиеся просторы. Синева лилась, приходила и уходила, наплывая и уплывая за бортом. То солнце вплеталось в нее золотыми лучами, то грозы пронзали ее серебряными молниями, а она, синева, бескрайняя и раздольная, лилась и лилась, зовя к новому, скорбила о древнем, и стучало мое сердце, и радовалось: себя распознавал...

Григорий Иванович в миг удручения сетовал:

“Куда делся Разин? Куда Пугачев делся? Чапаева и то нет, а? Народишко потерся, потерся на скрипучих кроватях и зануждился: шебуршится, юркий, хитрый, назойливый, а маршала Жукова не родит! Но Сталинградская битва не давеча ли прогрохотала? И мы – Хрущев раздаривает Советский Союз – согласны: не пискнем. Бунтари есть, или их уже никогда не будя?”

Атаман топал и полководчески встряхивал на нас очами. Порывистость и шторм угомонялись в деде Григории. Он затухал, утомляясь. Меня и сегодня врачует терпение атамана, его дисциплинированная рассудительность: роман рассыпали, значит – нужно рассыпать, срок приспееет – соберут!.. Оптимистическое поколение. Их науськивали, брата на брата, их пришивали к стенке, их реабилитировали под немецким свинцом, их вновь гнали по этапам, а они – терпение и сдержанность, терпение и сдержанность. И Ручьев – такой.

Вникните в “кредо” его:

Боюсь я, что поздно свобода придет...

Растает на реках расколотый лед,

Раскроют ворота и скажут: – Иди!

И счастье и слава твои впереди...

Приду я в Россию. Утихла гроза.

Навстречу мне женка прищурит глаза:

– Здорово, соколик! Здорово, мой свет!

А где ты, соколик, шатался сто лет?

Друзья твои прямо прошли сквозь войну

И кровью своей отстояли страну.

Им вечная слава, почет до конца...

А ты, как бродяга, стоишь у крыльца...

Десять лет колымских собак и колымских конвоиров мало? Поэт тоскует: не сражался на фронтах с немцами. Смущается: бродягой вернулся, реабилитированный. Но его “смущение” – режет нашу совесть болью. Это и есть – русское слово. Это и есть – национальная слеза!

Как-то я выманил Бориса Александровича Ручьева в Саратов – два атамана обнялись.

Уральский и волжский. Они ведь дружили и до 1941-го. Знали Павла Васильева, Бориса Корнилова, уничтоженных в кровавых подвалах кровавыми карликами. Нам, тогда молодым, слушать их, легендарных, живых, разговаривать с ними не только доставляло удовольствие, но и, мы не олухи, – являлось для нас редкой честью.

Сегодня я пишу о них, а их нет рядом. Они далеко – в синей, синей Скифии, откуда не возвратятся. С Колымы дождаться можно, а оттуда нельзя. Они, оба, там – в синеве. И голоса их – в ливнях.

Да и Акулов Иван Иванович – буйный, драчливый, непокорный, а ласковый и невероятно, как вол, терпеливый. Терпеливые, они – сильные духом. А наш дух – пошатнуло. Плодятся холуи свежего образца, но прежнего калибра: то лижут “президентский престол”, не вымыв и не утерев лакейской физиономии, то приспособляются в мощной яви защитников России, а у “престола” вышагивают из рядов и доносительно указывают на нас: “Экстремисты! Экстремисты!”... Указывают, хриstopродавцы, на тех, кого раздавливает чугунное колесо антинародной сионистской прессы. Указывают – карманные лауреаты, депутаты, актеры захолустья.

Им, с неумытыми физиономиями, им – кортеж, они – к месту у “престола”... И медали, ордена их, отлитые в ржавых формах, симоновские, чаковские, кожевниковские, ананьевские, кугультиновские и т.д.

Сменяется предводитель, и холопы сменяются, как на карауле. Но предводители – серее и серее. И холопы – серее и серее. Зависимость – взаимная. Адамович, Коротич, Черниченко, Корякин, Т.Иванова, Н.Иванова, Кучкина, Дементьев, Лосото, Вознесенский, Окуджава, да все они, лыцари перестройки, все они – под полководческой дланью А.Н.Яковлева... Но, чмокая “престол”, бесы что-то нервничают, от Горбачева перепрыгивают к Ельцину: “престол” у него внушительнее, привилегии ли?

И – русские лизуны за ними: “престол” слюнявить, предводителя ритуальить и оправдывать? Вятичи, сибиряки, московитяне – стыд, позор кормушникам, воробьям “престола”!..

А предводители – молодцы. Предводители отпинавают “левых” и “правых”.

Предводители подчеркивают: “Мы ни с левыми, ни с правыми!” – А где же вы, на макушке вулкана? А казахстанский предводитель книгу назвал: “Без “правых” и “левых”, вот так, тоже на “макушке”, а ежели не на макушке сопки, то прямо, как на танке, прямо, а кто за “правый” и “левый” бок хватается, – мотанул броней – и отлетели!.. Ультрасамовитая и полуграмотная жестокость – “звезда” имперского фокуса. – Мы “правых” и “левых” отбрасываем, мы – центр, мы – напролом, мы – грейдер, срывающий неровности? Революционеры-плюралисты. На языке их “Революция” – шоколадка во рту бутуза. Любой предводитель – чем не Ленин? Чем не Сталин? Чем не Брежнев? Чем не Хрущев? Чем не Андропов? Чем не Черненко? Предводитель – в стаде, а в каком стаде?.. Гражданская война – Революция. Застой – Революция. Перестройка – Революция.

Когда учиться? Когда землю пахать? Когда конструировать машины:

От Революции

до Революции –

Посулы

и экзекуции.

Последняя перестройка

Мчит

над Россией,

Как тройка...

Мчит

и сечет копытами

Над куполами

разбитыми!

Вчера – золотые храмы взорвали. Сегодня – красные памятники взрываем. Круг – замкнулся. Круг – Чертов. Сатана жуткий пир затеял. А Волга, заарканенная стальными петлями плотин, изуродованная ядовитой “косметикой” заводов, расчерпанная на звенья болот, стынувших и мутнеющих, Волга – пытается выжить, пытается напоить и накормить Россию.

Мысль Григория Ивановича Коновалова, Энгельса и Ленина о повальной ассимиляции не оправдала себя. Китайцев больше, чем русских, но и они отказались от ассимиляции: претворять это дело на практике – затратно и рискованно... У деда – осечка.

* * *

Евреи уезжают. Немцы уезжают. Поляки уезжают. Болгары уезжают. Даже русские уезжают. Дотюкали. Русские беженцы, вроде журавлиных стай, кружат и кружат над родимыми весями, вскопанными геноцидом в прах, кружат и, видя равнодушие предводителей, направляются к Западу, к Западу...

Спроста ли такое равнодушие? Не спроста, а с умыслом. Для кого расчищается, “освобождается” русская земля? Григорий Иванович Коновалов – умер. Борис Александрович – умер. Иван Иванович Акулов – умер. Бог прибрал их. Спасибо. Не ведают они про сегодняшнее оголтелое торгашество, предательство, нависнувшее над раздробленной Россией. На магазинных, ресторанных, деревообрабатывающих, ювелирных, типографских, банковских должностях славянский лик исчезает. В кабале Россия! Под Москвою – виллы, особняки, коттеджи, – на роскошный манер, принадлежат, подавляюще, не русским, а кое-где русским – христопродавцам...

То, что защитили Дмитрий Донской и Георгий Жуков, мы проторговываем тайно. Скоро Куликово поле и Курскую дугу в проамериканский концерн превратим. Сынки и дочери, внуки и внучки предводителей в Лондоне марксизм изучают – через доллар, через торг. Замуж выходят, женятся, рождаются с миллионерами отпрыски ленинцев, прорабов и архитекторов перестройки. Капиталу, уворованному революционными предводителями, склады выискивают. Плюрализм и блуд. Мафия торгашей.

Бети Коновалова, супруга Григория Ивановича, откликнулась “Приволжскому книжному издательству” на мой этот очерк. Есть у Бети Коноваловой несогласия:

“Выпад против сионистов, против руководства самого Сорокина. При чём здесь Коновалов, который ни разу не употреблял слово “сионизм”? Сорокин рассуждает против всего, что происходит сейчас. При чём здесь Коновалов? Почему-то он увидел, что Коновалов тоже против того, что сейчас происходит”.

Или:

“Бетя угощала русской едой. А что он ожидал?” – меня как бы цитирует Бетя, а правильно – Бетти, может быть, да ведь на Руси не только имя человека, своего или заморского, при необходимости, “корректируется”, но и, при нужде, “руссофицируется” сам человек, зря Бетя возражает:

“Похоже, что это идея-фикс самого Сорокина вынудила Коновалова сказать об ассимиляции национальностей?”

Или:

Сорокин: “Коновалов избегал говорить публично о “Молодой Гвардии”. Я хорошо знаю, что Г.И. не был согласен с их поправением”. И супруга Григория Ивановича ссылается на дневники: дескать в дневниках нет ничего о журнале “Молодая Гвардия”, писатель - что, не заметил, как диссидентствующая стая травила журнал?..

Дневник – не протокол следовательский. Александр Блок в дневниках сделал нелестную запись об А.М. Горьком, а наяву не вылез на трибуну осуждать, значит – А. Блок “двоит”? А если бы не записал в дневник, вообще молчи? Смешно. Дневник – не человек. И человек – не дневник.

Ассимиляцию же нам рекламировал ЦК КПСС, внедряло Политбюро, съезды КПСС, программы ее, а я, Валентин Сорокин, простой русский мужик, скромные имею шансы на ассимиляцию 300 миллионов граждан великого и могучего СССР. Наивны порывы и патриота русского – Григория Коновалова. Да и дряхлые члены Политбюро – кикиморы импотентные...

Вид на Дамаск [*](#)

1

Храм в закат

Багрянцево окрашен

На скале,

Как будто на весу.

И Дамаска

Голубая чаша

Медленно

Колеблется внизу.

А вокруг ветра

Поют жестоко:

Кто погиб в пустынях,

Кто спасен?

Этот город

На путях востока

Щедрую

Судьбою вознесен.

Потому базары

Понабиты

Счастьем,

Приведенным

Под уздцы.

Торгаши Европы

И бандиты,

Азии провидцы

И дельцы.

Золото Швейцарии

И Рура

Временем

Испытанный металл.

2

Модная

Зареченская дура,

Три кольца жених

Которой дал.

Не желая в мире

Суется,

От работы

Вешать головы,

Вылетела,

Этакая птица,

Прямо в рай

Бесплатный из Москвы.

Никогда себе

Не возражала,

Лишь талант

Мечтая применить,

Ребятишек

Столько нарожала,

Аж сама не знает,

Чем кормить.

А рекламы

Светят озаря,

Мимо них

Бредет она едва,

И спешат детишки,

Повторяя

Русские,

Арабские слова.

Минареты,

Солнцем обогреты,

Гордо устремились

К облакам,

И гудят

Роскошные кареты –

“Мерседесы”,

“Форды” по бокам.

Но спешит

Уверенней, бодрее,

Девушка,

Обманутая мать.

Нанялась

У доброго еврея

Временно

Хоромы подметать.

Бог уснул,

Так черт тебе поможет,

Не криви

Заботами лицо.

Ах, когда

Была бы помоложе, –

Можно...

И четвертое кольцо.

Тяга к вещи,

Не к ура-богатству,

Ведь не зря

Учили с малых лет

Равенству свободному

И братству,

Нету их–

И человека нет.

3

Я стою и думаю

О многом.

Город – чаша

Полная внизу.

Лишь вдали

За каменным порогом

Тучи собираются

В грозу.

Дерева трепещут.

И сонливей

Муэдзин

Гундосит, утомлен.

Скоро грянет ливень,

Честный ливень,

Горизонт

До звона раскален.

Урожаи вымахнут,

Крылаты,

И надолго

На земле опять

Перестанут

Воевать солдаты,

Женщины –

Страдать и предавать..

Столько звезд

Повысыпет на воле

И невест столпится

У ворот, –

И на миг

Передохнет от боли

Мой родной,

Незлюбивый народ.

Григорий Коновалов – штык своего времени, философ своего времени и творец своего времени... Но вот поездил я по разграбленной и расстрелянной Палестине: храмы и мечети взорваны, детишки и матери их в лагеря загнаны торжествующими негодьями века, и нас, нас, разноязыких и разноликих граждан СССР, ждёт участь палестинцев.

Русское гнездо разорено и ассимиляция русских другими народами факт, не требующий примеров: примеры – перед очами... Григорий Иванович Коновалов понимал трагедию русских: капкан, замурованный на божеской тропе русских космополитическими интернациональными негодьями. Мой очерк – не лично о Коновалове, нет, мой очерк о русских думах наших, завтрашних распрях свинцовых, посеянных в народах СССР

предателями и мракобесами.

* * *

Не надо записывать голос человека, его интонацию, его живую мысль – невыносимо слушать. Включу магнитофон:

“Сталин великий метафизик. Сталин собирал державу. Сталин никому не доверял из соратников, ему не было равных! Да, жесток, да, кровав, а Петр? А Грозный? А Ленин? А Донской? А Жуков? А Кутузов? Москву – сжечь!?”. Это – Григорий Иванович говорит. А чуть позже – поет:

Горят, горят пожары,

Они всю неделюшку,

Ничего в дикой степи

Не осталось.

Оставались в дикой степи

Горы крутые,

Как на этих на горах

Млад ясен сокол.

Подпалены у сокола

Крылушки,

Подожжены у сокола

Быстры ноженьки.

Словно – о русском народе, словно – о России? Грустная песня. Тяжелая песня. И восходит она к нам, поздним, запоздалым потомкам, из докуликовской битвы, из крика и рыдания полонянок, из пепла и крови руссичей, разрубавших ордынца мечом до седла. Из огненной Рязани восходит. Из-под Коловратова двуострого меча течет красной струею памяти и ярости, переполнившей русскую душу: до сих пор изнывает набат в ней, он свободы просит и – гульнет!..

Дед Григорий надувался, важничал:

Нападали на сокола

Черны вороны,

Выщипали у сокола

Перья сизые.

Атаман начинал широко, под шуршание магнитофона, “мерять” комнату у нас, в Москве, ходит, сменяя шаг на полубег, взмахивая высоко и резко ладонями, багровея и волнуясь, как на сцене, как на “кругу” среди близких сотоварищей, среди казачьей бесшабашной вольницы:

Разин и Разин – весь напряженный, весь распахнутый, – парус на ветру:

Говорит млад ясен сокол

Врагам воронам,

Расправляя крылья

Подпаленные...

Атаман могучее и могучее делается на виду у меня, у моей жены, у наших детей, у поэта Николая Благова, а магнитофон шелестит, шелестит:

Вы боялись меня могучего,

Меня вольного,

Вы напали тучей черною

На беду мою.

Как пройдет моя беда

Со кручиною,

Я взовьюсь, млад ясен сокол,

Выше облака.

Опустишь в ваше стадо

Я быстрее стрелы,

Перебью вас, черных воронов,

До единого!

Спазмы в горле мешали дышать Григорию Ивановичу. Боль и обида витали над нами. Память витала. Огонь витал. Мы замолкали. А лента шелестела и шелестела. Что это? Зов предков? Образ судьбы? Ступень надежды? История – беспощаднее певца. История – прямее диктатора. История – матери подобна: ей нет пути к неправде перед

своими детьми!..

А много ли мы знаем, часто ли мы врачуемся старинными русскими песеннями-повестями дома?

Хи,

В гараже

Уже?..

Так нам и надо. Мы – достойны распадного хрипа, бесовских “плясок” скелетов, достойны, выворачивая кресты на храмах, перепахивая курганы братских могил...

Очерк об атамане – мероприятие нехитрое, но и гнать глупо, хоть “душеприказчик” атамана Константин Евграфов, бывший мичман, а теперь писатель, терроризирует меня тринадцать месяцев по телефону:

“Русские умеют врать, обманывать, а коснись – первые заложат друзей!.. Ты – Обещалкин. Неужели, Валентин, тебе не совестно: деда забыл? Ну, кто же вспомнит о нем, если не мы, его близкие?”

Костю я ценю. Вместе работали в “Современнике”, вместе отбивались от своры “когтистых горбунов”, оклеветавших издательство и нас, фанатиков молодых, людей русских. Костя, на коллективных датах, медленно вскидывал ногу на уровень плеча, и все догадывались: матросское “яблочко” по залу прокатится!..

Да и деду Григорию как отказать? Забыть ли его? Я благодарю судьбу, благодарю бога

за русскую борозду, где они, деды, атаманы, ратники России, счастливые и разгромленные, вольные и теснимые, трезвые и хмельные, справедливые и лукавые, жесткие и ласковые, встречали меня, ждущего их опыта, приникающего к ним.

Могу ли я оярлычить деда сталинистом? Не могу. Да и оярлычу – от деда не убудет ни авторитета, ни мудрости. Никто от своего времени не спрячется ни за какими произведениями, ни за какими страданиями, ни за какими наградами. Никто и над временем не воспарит. Никто ниже времени не ткнется... На бесчестном – замета времени, и на честном – замета времени. Но бесчестному нет стежки к мучениям совести. Нет бесчестному стежки к боли душевной.

Василий Федоров обобщает:

Я – поле.

А поля цвели,

Напоминая берег пенный.

Я – плоть и кость родной земли,

Вошел по грудь

В разлив ячменный.

Жизнь – поле. Призвание человека – борозда. Память человека – поле. Ячменное, цветущее красным горем, что неутолимо плещется во временах... Так цветы, мое поле! Звени, мой ветер! Плыви, плыви, синева разинской Волги!

Из Саратова я уезжал в июле 1967 года. Уезжал славно и дружески. Снова – та же гостиница. Снова – разговоры о будущем и настоящем. Но в моей компании – незнакомец. Сужает веки и сужает. Спать его клонит. Встретимся взглядами с ним – спать хочет. И отчалили мы к Волге, к набережной, оставя отдохнуть незнакомца.

Возвращаемся – у здания скорая помощь, солдаты, милиция, парни в гражданском. Мы – у Волги, а незнакомец “перепутал” окно с дверью и вывалился с четвертого этажа гостиницы. Вывалился – да как сиганет. Не ушибся – упал на генерала, отменно принципиального генерала края... Специально не подгадать, а тут прыгнул, а внизу – генерал пыхтит.

Номер вскрыли - чисто. Спокойно. Никого нет; Ну? Провожая меня, на вокзале дед разразился хохотом, скопив стариков, рассказывает им около вагона, веселый:

– Не просчитайся в Москве!..

Обнялись. Поцеловались. Поезд тронулся. Наклонился к окну – атаман стоит. Мужественный, торжественный.

* * *

Безусловно, Григорий Иванович Коновалов – последний из могикан, кто обильно наизусть цитировал Шекспира, Гете, Пушкина, Толстого, Есенина. О Есенине он рассуждал, благоговей: “Гений, да, русские поэты Некрасов, Тютчев – гении, а знаете, как Гумилев умирал?”

Атаман становился “во фронт”: “Смирно. Пли!..” И добавил: “По себе командовал палачам стрелять, так умирал русский офицер, а вы? Жена изменяет, Гешку нашла, эх, едривашу в таганы, нет у вас пульса!.. ”

Перед 7 ноября столица тренирует парадные дивизии. Колонны танков, ракет гудят на Красную площадь мимо отеля “Москва”... Гудят и гудят. А мы с дедом поджидаем Александра Ивановича, давнего приятеля деда. Поджидаем, обмениваемся новостями. Номер у деда – люксовый. Дед – при галстукке. В изящном темном костюме. Часы. Модные ботинки. Внушительный. Солидный. Интеллигентный. Приподнятый.

И – вырос перед нами генерал. Погоны золотые. Китель голубоватый. По синим брюкам – красные лампасы. Лицо у генерала дедово – лицо атамана: доступное, и тоже большеглазое, серьезное, но лет на десять, пятнадцать моложе, замечательное лицо. А на золотых погонах – золотые звезды. Три. Генерал-полковник.

Помялись они, постукались, порадовались они, дед и заходил вокруг, как сазан на леске:

Полночь сошла, непроглядная темень,

Только река от луны блестит,

А за рекой неизвестное племя,

Зажигая костры, шумит.

Завтра мы встретимся и узнаем,

Кому быть властителем этих мест;

Им помогает черный камень,

Нам – золотой нательный крест.

Александр Иванович кивнул атаману: “А у Гумилева Николая Семеновича ни одной строки нет, перечашей советской власти... Вы требуйте его реабилитации, вы, писатели, у нас же – никаких претензий к нему!”...

Потом, по просьбе деда, я читал генералу стихи Гумилева. Сосредоточенный и просветленный, генерал внимательно слушал, а я гадал: “Не ему ли на голову упал из моего номера незнакомец? Нет, не ему. А не брат ли он, серьезноглазый генерал, Григорию Ивановичу, Иваныч же?”

Похожи. Деда одеть в генеральский мундир – закачаешься!.. Да, сохранилась в них порода. Все они сталинскую шпагу проглотили – подтянутые, ладные... А глаза? Глазами все даровитые – неотразимы.

Дед подсовывал генералу мою мечту – познакомиться с “Делом” расстрелянного Павла Васильева. Александр Иванович не избегал темы: “Вы, Валентин, еще молоды, вспыльчивы, ранимы, не советую. Созреете – успеете, не советую. Это может повредить вашей судьбе, может омрачить слог!..”

Кто это был? Располагающий к себе генерал? Родственник Григория Ивановича? Посидел – уехал. К атаману “на огонек” завернул Владимир Цыбин. Танки ревели за окнами. Ракеты двигались и серебрились. Роты маршировали. Куранты отсекали минуту за минутой.

Но жизнь нам не казалась текучей, она, разворачиваясь, как огромная страна, от

полюса до полюса, кипела воспоминаниями, шутками, интересами, порывами. Григорий Иванович потихоньку развязывал галстук, сбрасывал пиджак – возвращался в нормальное состояние.

Мы “перебирали” саратовцев – Дедюхина, Тобольского, Ширяеву, Боровикова, да мало их у нас? Ночь опускалась. На Манежной снежок взвихривался. Железная гарь оседала. Сон маячил издалека.

Последняя электричка увозила меня в Домодедово с Павелецкого. Электричка – разбойная. В этой электричке – отнимали деньги, раздевали, увечили, но, ранив, ножом или вилкой, не приканчивали: в те годы и грабители были “милосерднее”, и в народе такого одичания не случалось. Не как сегодня – днем выдирать серьги, на улице или у метро, из мочек девушек, что вы, господь с вами!..

Несколько шапок у меня отняли, пока я семь лет путешествовал: Домодедово–Москва, Москва–Домодедово, несколько браслетов, правда, с часами сорвали, но часы я не очень ношу, подражаю деду Григорию. Пальто хотели снять – не согласился. Дрались. Портфель выхватили, а в нем – четырнадцать рублей и рукопись. С тротуара, за станцией, вел с жуликами переговоры – результат нулевой: опять шапки лишился, перчаток, но пальто не согласился отдать. Потыкали в колени финкой, а пырнуть постеснялись, не унижали: сейчас настигнут впятером одного в туалете, рот зажмут и обшаривают, обшаривают, а после – добивают. Порядок был, уважение было...

Григорий Иванович Коновалов – на Волге атаман. Борис Александрович Ручьев – атаман на Урале. Смешно? Нет. Ласково. Это мы, русские молодые поэты, обобранные войнами и расстрелами, лишённые старших товарищей, изъятых из жизни пулями и бомбами, камерами и атаками, да, это мы, русские поэты, так величаем, так обожаем их, уцелевших, их, атаманов русского духа! Кто мы без них?..

Григорий Коновалов – с юности знал привязанность Бориса Ручьева к творчеству Сергея Есенина. И сейчас знает. Коновалов – бывший работник ЦК КПСС, Борис Ручьев – бывший зэк, но великий Есенин – один у них, у них один и у народа русского. Знает волжский атаман, как в судебном деле Бориса Ручьева намотали обвинение юному уральцу “За пропаганду антисоветского Есенина...” Да, марксистские негодяи умели одаривать безвинных преступными эпитетами, и мёртвых и живых одаривали.

Но волжский атаман декламирует:

Свищет ветер по крутым заборам,

Прячется в траву.

Знаю я, что пьяницей и вором

Век свой доживу.

Тонет день за красными холмами,

Кличет на межу.

Не один я в этом свете шляюсь,

Не один брожу.

Размахнулось поле русских пашен,

То трава, то снег,

Всё равно, литвин я иль чувашин,

Крест мой как у всех.

Бывший цековец и бывший зек народным врачуются мотивом на слова Сергея Есенина. Врачуются и братаются, нам завещая верность русскую к Родине. Не сбережём верность – великую страну похороним. Другого нам в судьбе не дано, другую Родину мы не получим от Бога.

А в году семидесятом, в августе, пожалуй, я зачитался до петухов. Домодедово – город, а деревня: куры, овечки, козы. Зачитался. А гром ухал, ухал, тучи сверкали, сверкали и уморились. Тишина. Рассвет. Могучая усталость в мире. И – слышу деликатный стук...

- Кто?

- Дед Григорий, открывай.

Мокрый, возбужденный, Григорий Иванович подал знак, мол, никого не буди, и в коридоре зашептал:

“Валек, тебя арестуют. В Саратове подпольщики раскрыты, группа антисоветская, у них твои стихи нашли, арестуют, я еле-еле прилетел, ад бушует, Валек, арестовать намереваются!..”

Я попоил деда чаем. Побрил деда. Поодеколонию деда. И – проводил атамана. Жене рассказал о сведениях, когда все взвесил, все продумал, все просмотрел в собственной линии – от рождения до седины, и неколебимо решил: не арестуют. За что?

Родился я в исконной русской семье. Мать – крестьянка. Отец лесник. Три брата погибли. Четыре сестры трудятся. Предки и прапредки мои – русские люди, защитники и труженики. Из Сорокиных даже плена никто не испытал – повезло... За что меня арестовывать? Я, семнадцатилетний, в Челябинске, в I мартен вошел, а двадцатисемилетним из I мартена учиться поехал, за что? В мартене, где от пыли гложешь, а от жары падаешь в обморок, десять лет плохой человек не выдюжит. Да и стихи мои, ну что в них смелого, что в них вредного?

И – понял. В Саратове “пропала” у меня поэма, о Льве Толстом, “Отлучение”, по тем временам – крамольная:

Расшвыряла нас власть

По просторам безбрежным,

От себя, нерадивые,

Мы отреклись.

Я люблю тебя, Родина,

Трудно и нежно,

Соберись под знамена,

Скорей соберись!

В поэме – через церковь и лирического героя дана ужасная картина нашего русского разорения, нищеты. Поэма нравилась саратовским юным стихотворцам – и “пропала”...

Но это я придавал такое значение поэме. Никто меня не тронул, никто меня не арестовал. Донос на меня, сильнейший, почти “достоверный”, обрушился несколько позже. И то – не арестовали. Беседовали. На автомобиле приехали к редакции, а беседовали там, у них. У них – во мгле.

Я убежден: если ты не мутил воду, не предавал, не клеветал, то тебя и не тронут, убежден. Хотя мои убеждения – сметены иными трагическими биографиями. Но атаман – атаман! В ночь – летел. В грозу – летел. В тучи – летел!..

Сторона моя, горы и реки!

Белый гусь у домашней воды.

Отчего же в одном человеке

Умещается столько беды?

Он любил эти строки. И пусть прозвучат они над его могилой.

1991

* Баллада написана в 1983 году.